

ВИТГЕНШТЕЙН 12
(Университет 29.11.1994)

Ausdruck, aus-drucken собственно выжимать, выдавливать. Выдавливание с силой, теперешняя “экструзивная” технология дает не только по форме другой продукт, чем заложен. Это силовое, выжимание до крайности, получение выхода через “не могу”, — что выражение это сражение и разить (перевод “Луцидариуса”, энциклопедии, в XVI или XVII веке еще сделан на языке; где выражение связано со сражением, “И егда вѣтра высоко на воздухъ вмѣсто сражаются [сталкиваются, схватываются, как стычка и схватка теперь повторяют сражение], сице бывают волнения; такоже и други воздухъ вонь выражает другия вѣтры”. И там же: “Идѣже земля жестока есть, тамо есть на всяко время вода высподи есть, сице бывает часто, та вода двизается под землю, и егда вонѣ выразитися не может, терзает землю с великою силою и ту страну двизает”) — вот контекст романтического, позднего, в самом деле очень поздно пришедшего понимания “выражения” как с силой, с взрывом, с землетрясением прорыва — а не так, что это похоже на подыскивание соответствий, зеркальное отражение. — Давайте попробуем оставить то бездумное, что наговорено и вы слышали вокруг “выражения”, и понимать выражение как то, во что мы вкладываем себя, в чем выкладываемся. Не так, что до выражения в духе уже всё готово и осталось вынести наружу.

Кому приходит в голову что-то в связи с этим “вынести”? Λόγος профорикός, слово про-из-несенное, от профорά, позднее, произнесение речи, произношение тоже. От глагола про-φέρω, несу вперед, выношу наружу. Два упражнения. 1) Где в античном спокойном λόγος профорикός соответствие романтическому прорыву? —

Всё ветшает, обтрепывается. Раннее, романтическое, вулканическое понимание “выражения” — стало “подысканием выражения”. “Он понимает, только выразить не может”. “Форму выражения не найдет”. Техника, опыт подыскания. “Не так выразился”. Простите человека, он *внутри* лучше, чем снаружи.

“Про-из-несение”. “Про-из-ношение”. У меня напечатан молчаливый образ слова, я его озвучиваю. — В античности “логос”, который мысль и слово, можно сравнить с выражением, причем можно думать о *невыраженном*, произнесенном выражении, —

борьба, которую напомнил романтизм, за слово, за логос происходит не там, где подыскиваются средства, формы выражения, а там, где складывается или не складывается мысль, всё равно, звучащая или нет. Где добродетель, калокагатия, μέτρον ἄριστον¹.

Наша привычка и тут склоняет предполагать какую-то массу жизнечувства, расположенную где-то там личность, и откуда как из сырья вырабатывается отчетливое сообщение, весть, вещь. — Чем это неправда? Ведь мы не придумываем мысль когда ее выражаем. Разве прав Витгенштейн, что бусинки возникают в момент их вытаскивания из прорези?

Нет он не прав. Мы не выделяем наши мысли.

Но есть как будто бы творческая мысль? Она творит наверное не вполне из ничего, но в каком-то смысле из ничего? Ее имеет в виду Витгенштейн? Призывает мыслить творчески?

Философия таким эстетским морализмом, нравственным эстетизмом, “мыслите творчески”, не занимается. Витгенштейна надо понимать так, что всякая мысль из ничего.

В чем одном-единственном каждый человек свободен?

Я оставляю этот вопрос на потом. Мне кажется ясно, однако, что во всём требующем разбора, интерпретации смотрите что получается: я свободен разбирать или не разбирать, так разбирать или по-другому, вы будете интерпретировать еще иначе, по-разному. Эта свобода, похоже, имеет своей обратной стороной то, что она не кончится. Т.е. что нам смертельно надоест, или нам станет скучно, или кто-нибудь придет и прихлопнет нас, хватит караул устал, — или не хватит времени, или окажутся другие дела поважнее, но в самом разборе *наша* свобода, так сказать, никогда не кончится: *нашу* свободу никто не ограничит, вы *всегда* будете свободны в вашей интерпретации! интерпретация результата как окончательного никогда не будет вам навязана! другой и более глубокий результат вы всегда получить сумеете! — Вот смотрите, у бесконечности анализа есть эта неожиданная сторона, он гарантия нашей свободы. К любой данности, приложив внимание, мы можем сказать: нет господя, это еще не ясно, что здесь последняя стена. — На неизбежный уход в бесконечность на любом месте не надо сердиться: нам тут как бы чего-то не дают, но этим самым дают

* Сокращенный отрывок из неопубликованного курса “Витгенштейн”, читавшегося на философском факультете МГУ в 1994–1996 гг. Текст подготовлен к печати О.Е. Лебедевой и С.Ю. Невзоровым.

¹ Ср. Эрн В. Борьба за логос; Гальцева Р. Борьба с логосом, “Новый мир”, № 9, 1994.

свободу. Свободу на любом месте, в любое время продолжать разбор, нашу работу истолкования.

Вам это нравится?

Теперь, Витгенштейн, уходя от истолкования, хотел “жесткого мира”, остановки — абсолютной — в тождестве, в “том же” с его жесткой необходимостью. Он круто уводил таким образом от плюрализма толкований мнений мировоззрений (толкований может быть сколько угодно, все они в конечном счете полноправны, мы плюралисты; впрочем, марксисты догматического толка всегда и были плюралисты, потому что никто из них в здравом уме не верил, что их учение действительно единственно верное; практический плюрализм, убеждение, что мнений много, был безусловно и во времена единого мировоззрения, и служил как теперь умственной лени: *не надо* разбираться в мнениях, *всё равно* мнений много и всегда будет много; если за *это* вот такое мнение много платят, то — поскольку плюрализм — *всё равно*, не беда, если я приму его, потому что любое другое будет тоже *только одним мнением среди многих прочих*). (Тоталитаризм без плюрализма не может в принципе быть, потому что безразличие к идеологии обязательно должно быть. Поэтому в идеологическом движении обязательно истребляются, когда оно становится политическим, реформаторы, обновители, “ревизионисты”, забота которых о том, чтобы поддерживать свое учение, по-честному, без цинизма, в качестве единственного верного, для этого нужна работа).

Витгенштейн: есть то, что есть; So-Sein. Это сковывает жестко, где свобода?¹ Пример свободы, классический: я хочу шевельнуть рукой, и у меня получается. Читаем в ВВ 85 (1980)²:

для Витгенштейна этот классический довод не только не действует, но вроде бы и вовсе не существует:

¹ Кто хочет расследования, кто хочет вырваться из зацепившего крючка философии, которая однажды зацепив грозит так никогда и не отпустить человека, так и будет его требовать и что-то с ним непонятное делать, — я подкину легкий простой способ сразу освободиться. Витгенштейн был просто *неправильный человек*. Кому мало еще, недостаточный довод, и он по доброте смотрит сквозь пальцы, что Витгенштейн был не совсем наверное нормальный и Бертран Рассел, например, буквально со дня на день ожидал, что он сойдет с ума, — кто еще по доброте не видит достаточного основания его бросить за его нравственность, подозрительную, — то вот и в политическом отношении он не видел беды в сталинизме и о Гитлере совсем не имел однозначного общепринятого мнения. <Прим. В.Б.>

² ВВ — Das Blaue Buch, Голубая книга. Использовалось издание: *Ludwig Wittgenstein. Das Blaue Buch. Eine philosophische Betrachtung (Das Braune Buch)*. Hrsg. von Rush Rhees. Fr. A. M.: Suhrkamp, 1980.

Wenn ich... sage «ich sehe meine Hand sich bewegen», dann scheint beim ersten Blick damit vorausgesetzt zu sein, daß ich den Satz «meine Hand bewegt sich» akzeptiere. Jedoch wenn ich den Satz «ich sehe meine Hand sich bewegen» als eine der Evidenzen für den Satz «meine Hand bewegt sich» ansehe, dann setzt die Wahrheit des ersteren nicht die Wahrheit des letzteren voraus. Man könnte deshalb den Ausdruck «es scheint, als ob sich meine Hand bewegt» anstelle des Ausdrucks «ich sehe meine Hand sich bewegen» vorschlagen. Obwohl dieser Ausdruck andeutet, daß meine Hand sich scheinbar, aber nicht in Wirklichkeit bewegt, könnte er gleichwohl zu verstehen geben, daß es immerhin eine Hand geben muß, damit sie sich scheinbar bewegen kann; während wir uns leicht Fälle vorstellen können, in denen der Satz, der die visuelle Evidenz beschreibt, wahr ist und in denen andere Art von Evidenz uns gleichzeitig zu sagen veranlaßt, daß ich keine Hand habe¹.

Почему не годится выражение *meine Hand bewegt sich*?

Ведь “с обычным языком все в полном порядке”.

Это выражение, “*моя рука движется*”, кажется Витгенштейну “громоздким, неповоротливым”, *schwerfällig* (BB 85), он предпочитает ему другое, *es scheint, als ob sich meine Hand bewegt*, “кажется так, словно *моя рука движется*”; “кажется так, как если (бы) *моя рука движется*”.

Задача. Почему “*моя рука движется*” громоздко и неуклюже и вводит в заблуждение, *schwerfällig und irreführend*, а “кажется так, словно *моя рука движется*” не вводит в заблуждение. Я спрашиваю, не почему Витгенштейн так думает, а почему так на самом деле и есть. Потому что так оно на самом деле и есть.

Пояснение к задаче. Не надо смущаться кажущимся противоречием между “с обычным языком всё в порядке” и тем, что его выражения громоздки и неуклюжи, вводят в заблуждение. С нашим телом тоже всё в порядке, мы всерьез не хотим иметь тело

¹ Когда я... говорю «я вижу, как моя рука движется», тогда кажется на первый взгляд, что с этим должно быть предположено, что я принимаю положение «*моя рука движется*». Однако, когда я посмотрю на предложение «я вижу, как моя рука движется» как на одно из свидетельств для предложения «*моя рука движется*», тогда истина первого не предполагает истины последнего. Могли бы поэтому выражение «кажется, будто *моя рука движется*» предложить вместо выражения «я вижу, как *моя рука движется*». Хотя это выражение намекает, что *моя рука движется* по видимости, но не в действительности, оно может однако дать понять, что *рука всё-таки должна быть дана*, чтобы с этим она могла себя по видимости двигать; в то время когда мы легко можем представить случаи, в которых предложение, описывающее визуальную очевидность, истинно, и в которых другой род очевидности одновременно побуждает нас говорить, что у меня нет руки.

камбалы или шимпанзе, но наше тело больше чем один раз бывает громоздко, неуклюже и вводит в заблуждение.

Решение задачи. Громоздкость не в количестве букв и лексических единиц, а в *грамматике*. О какой грамматике речь?

Громоздкость фразы “моя рука движется” создается как раз ее нехорошей двусмысленностью, из-за которой она действительно *schwer fällt*: у меня не может быть руки (ВВ 85), часть моего тела может быть ампутирована (там же).

Я надеюсь, что не все из вас успели подумать, что это искусственный случай, надуманный казус: моя рука движется, но она не моя, у меня нет руки. Черта с два это надуманный казус. Я могу быть не в хирургической палате, и моя рука может и не быть ампутированной и я с тампонами и моя рука которой у меня нет движется вдаль от меня, — пожалуйста этого случая может и не быть *и мне от этого будет только хуже*. Может быть ею движут. Может быть моей рукой движут, и такое бывает и такое черт возьми часто бывает и такое бывает слишком часто и такое бывает, чтобы моей рукой движут или движет так, что лучше гораздо лучше было бы, если бы у меня для такого чужого движения вовсе не было бы никакой руки. Это черт возьми слишком часто бывает, и за столом и на работе и на войне, что “моя рука движется” но уже не моя или гораздо хуже чем не моя и не моя в смысле от меня отрезанной и никуда уже не годной. Витгенштейн говорит о случае реальном и больше того частом и больше того *единственно меня касающемся*, потому что мое дело в чем? в том чтобы быть *моим, своим* делом, и как часто я сам не свой, и я не я, и мой язык не мой, и я говорю не своим языком и занят собственно не своим делом. Рука ампутирована — это еще хороший, мягкий случай, *гуманный*.

Мф 5.30: καὶ εἰ ἡ δεξιὰ σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοφον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ¹.

Σκανδαλίζει к сожалению понимается иносказательно эстетически и нравственно, тем более что контекст говорит о глядении на женщину с вожделением. Нехорошо смотреть на женщину с вожделением и как красиво тогда в высоконравственной скорби пойти и отрубить себе что-нибудь, палец или еще что. Хороший очень хороший человек жертвует собой ради высокого прекрасного идеала незаинтересованного созерцания. Так на культурном Западе мужчины стерилизуют себя, чтобы не вводить в излишние тревоги женщин, это гуманно и жертвенно. — В

¹ И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя.

толкованиях к этому “соблазнению” поясняют, что *οκάνδαλον* это та часть капкана для дикого зверя, на которую кладется приманка; зверь дотрагивается до нее, этот *οκάνδαλον* выскакивает из паза и высвобождает пружину, она захлопывает голову или лапу — или руку, человеческую. Так что перспектива этого евангельского места не нравственно-эстетическая, а охотничья и военная, потому что капканы имеют разную форму. Форма капкана — тот частый прием античной военной тактики, когда строй нарочно отступал и потом убегал, чтобы раздражить врага до смелости и решимости, а потом внезапно показать ему, что у мнимых беглецов смелости и решимости еще больше; это род капкана, принцип которого легкая добыча (как красивая женщина собственно легкая добыча) (как природа беззащитная и красивая кажется легкой добычей) (не по принципу ли капкана вообще устроена софия мирового автомата) — и захват захвата. Захваченность захвата, который ведет человек, захвата мира, который всегда захват мира такой, что он же и захват миром, — тоже по принципу капкана: хватаем явно мы, но мы сразу и схвачены.

Витгенштейн, рассматривая казалось бы фантастический надуманный случай, как моя рука движется, мне уже не принадлежа после ампутации, берет просто *наглядный* способ того, как рука не моя, потому что не его цель — разбор сложных и очень разнообразных случаев того, как моя рука (или моя воля), попав в капкан, схваченная на захвате, оказывается хуже и сложнее, чем просто не моя, — оказывается в капкане, как в той распространенной истории, когда мне хочется и *нужно* иметь ее для моего спасения ампутированной.

Вы не знаете, почему мы говорим то о пленных, которые прикованы за шеи и не повернут голову, то о капканах, то об ампутациях?

Может быть, нам всё-таки в Витгенштейна вчитаться удалось, потому что плен, окопы, военный госпиталь — это как раз его опыт, многолетний?

Но, кажется, и без этого опыта тема “безвластия” у него была бы — она и была очень ранней. Дело в том, что и ампутация не избавляет, потому что в капкан можно попасть и без рук и без ног. Абсолютное безвластие, бессилие были бы самой эффективной ампутацией, но гарантированной ли от капкана? Волевое безволие само же и есть капкан, посылающий как раз прямо туда, куда человек хочет не попасть. — Выходит, выход всё тот же,

витгенштейновский: никогда не уставать и не беситься от того, что оказываешься в замешательстве, в недоумении и недоразумении.

Что я думаю и думал, я еще посмотрю, когда замечу, что я говорю, что я *показываю* — не только в том смысле, в каком свидетель показывает, но и в том, что я всегда собой показываю больше, чем сам замечаю: я же и показываю, и я же не замечаю.

Мы всегда уже *говорим* что-то собою, т.е. показываем, в том числе и тогда, когда говорим, истолковывая и выстраивая свои тексты. Добавим к нашим парам полярностей еще *сказать* и *сказать*. Что ты сказал? — (осведомляясь) — Я сказал слово “Аристотель”, а ты не расслышал. — Что ты сказал! — (с ужасом) — Что открылось в твоих словах. Я указал этим примером только на кромку различия.

Мы не сначала говорим-истолковываем строим мнения, а потом или вообще изредка — говорим показываем как свидетели и больше, как неспособные скрыть себя, а всегда уже говорим, причем так, как нам кажется мы сознательно решили и хотим говорить, ища, исследуя, конструируя, развертывая свои интеллектуальное умение и мощь, — и этим своим говорением кажем, как миметическим жестом, место боли. Нам кажется в рамках условностей нашей культуры, что мы познаём вселенную, получаем образование, учим людей, занимаемся литературой, философией, — но нет, “почему?” наших “почему” мы не замечаем. Этим *незамечанием* “оснований нашего исследования”, того, почему мы заняты тем чем заняты, мы всегда уже сделали жест указания на боль и немощь, — и одновременно истолковываем собственный жест так, чтобы компенсировать немощь активностью и анестезировать надрыв, облом.

Выражение мысли не есть выражение — мысли. Там, где якобы расположено то, что выражает мысль, лучше не воображать готовое жемчужное ожерелье. Бусинки появляются при извлечении. — Это мы говорили. Теперь вот что. *Нет* там ожерелья в каком смысле? В том, что там, откуда идет мысль, нет ничего, в каком смысле Станислав Лем пишет книгу “Досконала пружня”, “Абсолютная пустота”, с предисловиями к другим книгам, которых просто не существует? Мы рыщем в пустом пространстве под голыми небесами и от тоски мирового вакуума придумываем себе интересное, чтобы скоротать время? — Алексей Косарев¹ скажет: ну конечно не так, что-то там есть! Но мне больше нравится

¹ Алексей Косарев, Ира Канаева — постоянные слушатели курса, участники семинара.

решительность, с какой Ира Канаева говорит: Парменид *выдумал* свое пикантное бытие, с которым как с золотым запасом будто бы никогда ничего не делается, на пустом месте измыслил. — Я еще и от себя добавлю к Ире Канаевой: что Парменид вечно неизменное бытие придумал, подчеркивается еще и тем, что на другом конце греческого мира примерно в то же время другой философ, Гераклит придумал, еще интереснее, Солнце, тоже золото своего рода, которое, наоборот, каждый день совершенно новое. Разве этот произвол теорий и философий не доказательство, что каждый исхитряется как может?

Каждый развлекает как может среди мировой пустоты сам себя и тоскующую публику смертников, терпеливо ожидающую неминуемой — амнистий абсолютно не бывает — смерти. У публики в запасе, в кармане в будущем ничего верного кроме смерти, собственно, ничего ровным счетом нет. От рождения они уже приговорены к смерти и в своей камере, из которой нет выхода (еще один изобретатель, Витгенштейн, придумал, что дверь из нее открыта, но мы ведь реалисты и знаем другое, как жестока и сурова жизнь, ведь правда?), вынуждены пока, до смерти, как-то убивать время, одни грубо и разгульно, другие очень тонко, музыкой, поэзией и философией, умно и интеллигентно. Полная пустота, *doskonała próżnia*. Польское слово тут лучше, в контексте этого отчаянного нигилизма, в его пейзаже, чем русское “пустота”: *пустота* еще указывает на *пусть* и *впускание*, а *próżnia* только на порожность и праздность, упразднение всего.

Алексей Косарев слушает и думает про себя: был тезис, сейчас антитезис и опровержение нигилистической пустоты. — Я на самом деле вместе с Витгенштейном настолько не подумаю одумываться и диалектическим трюком доказывать, что всё-таки в том месте, откуда мысль, не пустота, что скажу вместе с Витгенштейном еще хуже: не просто безразличная пустота, а именно *próżnia*, праздность, — не пустая голая пустота, а другая, когда человек хватается после операции за ногу и там ничего нет, ее ампутировали. “Первородный грех” относится к христианской или другой догматике. В витгенштейновском пейзаже другое, более простое и отчетливое: мы ампутированные, все люди, всегда.

Не дворянский класс, а *мы все Обломовы*, обломки. — Как это могло случиться, что мы ампутированы и не знаем? Это новость, трагизм нашего XX века, смерти Бога, богооставленности, оставленности бытием? — Алексей Косарев сейчас уверенно скажет:

нет, нет, не трагизм XX века. А что? В каком веке стало известно, что мы ампутированные, обломки?

Платон, Пир 190 d: Зевс нашел способ и сохранить людей, и смирить их: он разрежет каждого пополам... 191 d: каждый из нас — это половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части... 193 a: “Прежде мы были чем-то единым... если мы не будем непочтительны к богам, нас рассекут еще раз, и тогда мы уподобимся не то выпуклым надгробным изображениям, не то значкам взаимного гостеприимства”. Это *λίπλα*, распиленные игральные кости, то же, что *символы*, части расколотого целого, которые потом можно снова соединить в целое, “что теперь мало кому удается” (193 b). Когда мы теперь читаем это у древнего автора, люди разрезаны и ходят неполными, и отрезанную половину надо искать и трудно найти, то это далеко как миф, и нужен Соловьев, чтобы эта оторванность стала *важной*, и главной задачей жизни, и дороже жизни.

Разница между ампутированной ногой и нашей половинчатостью та, что там мы точно знаем, что именно ампутировано, нога, а тут надо сначала найти именно символ, половину которая сойдется. Мы просто не знаем, пока не нашли. И постоянно во всём, что говорим и делаем, только и делаем жест мимозы, жест реакции на боль. Или вообще ни о чем другом по существу не говорим, по-честному. Вся письменность так называемой исторической эпохи имеет дело со страданием надрыва.

Откуда этот надлом. Или в начале всего война, граница, разрыв, по Гераклиту. Но еще ближе ко мне, чем Гераклит, мой собственный жест, который мне кажется каким-то, может быть умным или интеллектуальным, но существо которого — в указывании на место боли. Я понимаю свой жест? В каком смысле понимаю — я должен его интерпретировать?

Наверное всё-таки нет, словно я сам себе наблюдатель. Жест принадлежит надрыву, я весь в нем, не принадлежу отдельно себе, отдельно надрыву. Надрыв идет рядом с захватом мира, в тех двух смыслах. *Захват*, *хищение*, *восхищение*, *хитрость*, *охота* (и *капкан*) в истории этих слов и по сути дела вместе принадлежат пейзажу, который нам открылся в курсе “Собственность”: такая атмосфера вокруг “своего”. Что Витгенштейн жил всю жизнь в самой середине этого надрыва, этой войны, показывает последняя, сделанная за два дня до смерти (ум. 29.4.1951) запись, § 676, в книге “О

достоверности”¹. Речь тут идет о том, что в каких-то вещах заблуждаться, ошибиться невозможно. Я знаю, что я приехал сюда на метро, что стою и говорю. От этого легче не делается: проблема достоверности *именно из-за явной достоверности каких-то моих знаний и самосознаний* взвинчивается до неразрешимости. Я могу удостоверить, засвидетельствовать, что я был в метро, что говорил в университете, даже может быть сумею доказать, что это удивительное *было*, но что если я всё это делаю, говорю и доказываю под наркозом? Если так, то *die Narkose mir das Bewußtsein raubt*², и я говорю и действую сейчас не по-настоящему, *nicht wirklich*. Rauben грабить, похищать то же слово, что наше “рвать”; *das Raubtier* хищник, хищный зверь. Наркоз не “лишил меня сознания”, как сказано в недавнем переводе, а грабит, вырывает мне сознание действительно как хищный зверь, так что я не могу его отстоять, или — еще возможное понимание фразы — рвет себе, похищает себе всё мое сознание, т.е. сознание у меня есть, по крайней мере столько, чтобы думать и говорить, я же в конце концов всё-таки продолжаю думать и говорить, но это мое сознание не мое, оно у меня вырвано, хищно и хитро похищено наркозом. — При том и другом понимании происходит хищение, отрывание, при котором — вот что интересно — *я не могу даже по-честному сказать, что я сплю*. Потому что если спящему снится, что он спит, даже если он *говорит* во сне, что “я сплю”, даже если он, как иногда во сне говорят вслух, говорит *слышным* образом, “я сплю”, принять это за свидетельство того, что он спит, нельзя: он говорит во сне о *другом* сне. Точно так же, как если он во сне говорит: “Идет дождь”, это не свидетельство того, что действительно идет дождь. Это *другой* дождь, дождь его сна. *Даже* если дождь его сна и его свидетельство о дожде вызваны действительно донесшимся до него шумом действительного дождя!

Мне не интересно говорить параллели. Или говорить о значении этого последнего § 676 сборника “О достоверности” для истории Европы. Уже то, что я говорю о Витгенштейне почти целый

¹ “676. «Но даже если в таких случаях я не могу ошибаться, — разве не может быть, что я нахожусь под наркозом?» Если это так и если наркоз лишил меня сознания, то по-настоящему я в этот момент не мыслю и не говорю. Я не могу всерьез предположить, что в данный момент вижу сон. Человек, говорящий во сне: «Я вижу сон», — даже если при этом он говорит внятно, прав не более, чем если бы он сказал во сне: «Идет дождь» — и дождь шел бы на самом деле. Даже если его сон действительно связан с шумом дождя”. — См.: *Витгенштейн Л.* Философские работы, часть I. — М.: Гнозис, 1994. — С. 405.

² Наркоз похищает у меня сознание.

семестр и думаю, не продолжить ли в следующем семестре, показывает, как я его вижу.

Как должен вести себя ампутированный. Он должен стремиться к *реабилитации* и к восстановлению полноценной социальной жизни. Протезы, особенно современные совершенные и автоматизированные, делают отсутствие части тела почти незаметным или вовсе незаметным. Но невозможно организовать не то что реабилитацию, а ничего во сне. Когда вырвано сознание, моя ситуация для меня становится такой же неподконтрольной, как мой сон.

Теперь я могу себе и вам дать отчет, без неуверенности, в витгенштейновском различении *сказать* и *показать*. Всё, что я *скажу* под наркозом, во сне, будет оторвано от того, что *не* сон. Всё, что я *покажу* во сне, в том числе и словом, будет так же весомо, значительно, как наяву. Всё, что я говорю, всякая языковая игра, будет по сю сторону сна.

Говорение в смысле *сказать* проходит всегда в той или другой языковой игре, *показывание* как мимесис (как жест мимозы) — нет, не принадлежит языковой игре. Языковая игра, в ней я определяется правилами игры. Вся гладкая игра цивилизации. *Я* скажет всё что скажет по правилам языковой игры. В *показывании* как том мимесисе, который как раз *не* игра (мы различали между мимесисом и мимесисом), *я* как раз очень не спешит, не очень рад отождествлять себя с тем, что оказывает-ся в миметическом жесте; но никогда не сможет увидеть в нем что-то не *свое*, хоть и неохотно. Подвертывающиеся я языковых игр — не я, я их меняю; они спутывают всё, что держит сознание; сознание открыто разграблению, хищению, захвату. Открыто разграблению в той мере, в какой само ведет захват? Может быть. Наверное. Предупреждения против захвата, разные, имели в виду это разграбление.

Мне кажется, с Витгенштейном мы часто оказываемся в трезвом библейском пейзаже, где на человеческие предприятия взгляд как на траву, которая открыта всем ветрам и едва поднимется над землей годится уже для косы и зовет косу. Всякое у-тверждающее себя я имеет шансов не больше чем такая трава. Библейским я называю этот пейзаж очень широко и условно, одновременно я думаю, например, о Плотине III 2, 15. Говоря “библейский”, я хочу так кратчайшим возможным образом сказать, как неправильно и искусственно разведение философии и религии, — обычно их спешат развести задолго до того, как хотя бы издалека

замечают их настоящий размах. Все эти дешевые различия между Афинами и Иерусалимом, греческой философией и библейской религией, не заслуживают внимания; философия и религия смотрят в одну сторону. Когда не поверят философии, придет религия и поверить заставит; когда не поверят религии, придет идеология и хоть силой подчинит.

Открытость сознания для разграбления оставляет для я в качестве единственной опоры только правила языковой игры. Правила безусловны только внутри игры, сами по себе они условны и могут быть заменены. Распределение ролей в игре тоже условно. Кто я? кто в рабстве? кто кукловод, кто освободившийся в платоновском рассказе о пещере? кому стерпится-слюбится, как сказал Александр Землинский¹, кто умирает? кто еще живет? кто карабкается по каменистому крутому проходу? Постановщика этого сценария не надо забывать. Этот сценарий поставил я? Сценарий последнего параграфа “О достоверности”, со спящим, который говорит во сне под шум дождя, что идет дождь, поставил Витгенштейн? Кто подкошен, кто косил в библейском пейзаже? Кто выиграл, победил, кто проиграл? кто сошел с ума? кто покончил самоубийством? кто потерял руку и продолжал играть одной? Всё это случилось с братьями Витгенштейна, и их боль была в нем. Кто давно умер? кто еще нет? Чье дело плохо, чье хорошо? Кто прожил прекрасную, значит счастливую жизнь, кто просил сказать об этом “им”? кто был осторожен? кто был упрям? Но по-честному, действительно кто? Всякое “кто” открыто для разграбления.

Я не могу себе представить, чтобы у многих из вас еще оставался кураж сказать, что в предположении Витгенштейна о “наркозе” снова выдвинут надуманный казус, редкая вероятность. Самый мощный из всех наркозов — просто сама жизнь, ее планетарная или космическая стратегия. Сравнения никогда очень далеко не ведут, сравнение человеческого предприятия с травой — тоже. “Я”, наверное, имеет сходства и несходства с травой. Оно, наверное, подкошено в каком-то другом смысле, чем трава. Я оставлен на разграбление моему нестерпимому, невыносимому постоянному желанию уладить, обустроить, пригладить, сцепить концы с концами, — и в конечном счете стратегии жизни. Жизнь диктует, всегда, всем.

Моя жизнь, которая вашей мешает, хотя бы потому, что места на планете уже мало. Или вы или я. Мы договорились об условиях

¹ Постоянный слушатель курса, участник семинара.

дуэли, схватки, мы поэтому ужасно вежливые, — но мы в войне, за выживание. Вы или я. Зря вы так расхоложены, мы в дуэли, я могу просто безжалостно нанести вам непоправимый вред, кто меня удержит? Я себя как удержу, если я агент в планетарной биологической стратегии? — Даже в своей смерти я буду поневоле агрессивен, навяжу вам свое тело для того, чтобы вы его устроили, навяжу свое толкование. “Прошлое толкует нас”, так назвал немного неосторожно свою книгу один активный философ. “Прошлое толкает нас”, прочитал Мамардашвили. Мертвые толкуют живых.

Витгенштейн обезопасил себя: эффективно отказался от власти, стал рано *machtlos*, так? Мы можем его поэтому не бояться? — Как он тогда просуществовал, не заботясь о жизни? — Его терпели, потому что он был полезен? — Наверное, страшно полезен всем. Учебному процессу в Кембридже и в массе других мест; гешефту философии; воспитателям, своей *этикой*. Мало ли кому еще и чем полезен; как бы он ни протестовал, что его не так поняли, из него сумели, как из всего всегда сумеют, сделать применение.

Я разве тоже не должен сделать из него свое употребление? Мне ведь много надо; я могу его употребить на то, чтобы написать о нем диссертацию, почему я до сих пор не защитился; если не для себя, то я должен позаботиться хотя бы о детях. Я не буду, не хочу ничего говорить странного, я не должен идти на поводу своих настроений, у меня свои заботы, мне пора позаботиться хотя бы как-то распорядиться телом, подготовиться к выносу тела.

Или Витгенштейн не был сам намеренно обессиливший себя *machtlos*, а он был присутствием нездешней силы, сверхопытный борец с пифагорейской волей, с немыслимым упрямством? Т.е. его нищета и безобидность от войны? Ведь известно же, что настоящий солдат не берет добычи и совершенно безобидный; буян, топчущий сапогами, и задира бывает уверен только в темной ситуации, рядом с настоящим солдатом он пустое место или ноль, для охраны своей страны хуже чем ничего, потому что приманивает сильного противника уверенной победой, как миллионные восточные армии были скорее приманкой, чем препятствием для маленьких греческих и римских и позднее европейских отрядов. Я говорю так, словно война хороша и неизбежна. Если я вас оттолкнул, первый добежал до кассы и взял все деньги, а вам осталась мелочь, то противодействие этому не обязательно ваша война против меня или моя война против самого себя с неизбежным дурным миром от

обессиления в конце, а возможно еще и вступление в действие тогда настоящей войны, *чистой войны*, так сказать, или чистой войны, где ставка уже не деньги, где деньги смешно. Уже и для хорошего солдата деньги не ставка. — Ставка Витгенштейна счастье. Что надо для счастья. Естественно, все знают: обеспеченность. Надо, конечно, хорошо поработать, но и получить приличные деньги. Интересно и жутковато, что по телевизору такие вещи уверенно говорят детки, правда, уже не совсем маленькие. Тупой и тупиковый путь благосостояния так называемого, рядом с которым мещанство, у которого есть свои милые прихоти, самовар, слоники, — это увлекательная авантюра и интрига. За теперешней “обеспеченностью” — только страх холода и голода, нищеты, и еще — оказаться внизу вместе со всеми.

Если человек, как Витгенштейн, хочет счастья и первым делом *раздает* большие деньги, остается ни с чем абсолютно, то уже попробуйте подступиться. Для этого надо сделать что-то подобное по крайней мере. Как при изобретении религии разума.

Случай тот, когда разузнать, где Витгенштейн ищет счастья, трудно, потому что *подойти туда где он* трудно, для этого на самом деле надо сделать что-то подобное отказу от больших денег или от освобождения из плена или жесткой проверки каждого слова. Это тот случай, когда на место настоящего боя просто нельзя проникнуть, не может даже Александр Невзоров. Не то даже что не пустят, а *в месте настоящего боя нет никакой свободы движения*. Кто-то, наверное, заметил, что это у меня сегодня уже третья аллюзия на Плотина, мне самому немного странно.

Всего меньше свободен солдат. В середине *схватки* (захват лучше понимать как схватку в смысле войны и *сражения*, и кстати витгенштейновское *выражение* тоже в близости к сражению) человек, захваченный войной, странным образом действительно уже ничего не может, и для сознания или свободы выбора места уже нет: выбор только между отчаянием и яростью. Я не говорю, что война только для берсерков, хотя склоняюсь видеть в Витгенштейне берсерка, — но что уж во всяком случае точно, это что кто рискует на войну, должен быть готов уметь встретиться с берсерком, т.е. с развязанной раскованной яростью, которая действует наотмашь и сначала действует, потом сознаёт и замечает: посылает свой удар раньше сознания. Кто решается на войну, должен быть к такой встрече готов, иначе извольте сядьте пожалуйста на вашу скамью и глядите на экран.

Война отец всего, одних она делает людьми, других богами, одних свободными, других рабами. — Кто в войне, того уже не отпустят; таких знают, они на учете; они могут всегда уверенно считать себя в военных действиях, так просто спокойнее. От запасов и багажа лучше сразу отказаться. Солдат перед боем сдает в тыл свои ценные бумаги.

Расставание с я Витгенштейн показывает, среди многих своих парадоксальных задачек, на такую. Предположим, в ходе какой-то хирургической операции некто А и я имеем общую кисть, мое и его предплечья с ней одинаково соединены. Общую кисть укусила оса, мы оба плачем, у нас гримасы боли, даем одинаковое ее описание. Но мы разные люди. (Мы дочитываем “Голубую книгу”). Мы чувствуем *ту же* боль или, поскольку он другой человек, *сходную* боль? Это вопрос *грамматики*, в какой парадигме поместить слова “та же”, “твоя”, “моя”. И в какой синтагме.

Вы понимаете, что “общая кисть” в каком-то смысле у всех людей. Со-чувствие вопрос не нравственности, а физиологии. У девушки, которая как дочка коменданта Кремля видела расстрел строя из пулемета учеников военных училищ, разболелись сразу все зубы. У девочки, которая залезла от страха под стол и не могла стоять на ногах, когда пьяный отец бегал вокруг стола с топором за матерью, через несколько лет отнялись ноги и она всю жизнь прожила инвалидом.

Физиология со-чувствия, сим-патии в разных видах известна всем. Этика часто работает там, где должна была бы работать медицина, патологическая: где человек намеренно ампутирует свою физиологию, — это возможно, — чтобы быть свободным. Это бывает чаще чем мы думаем. εὐσπλαγχνία, σπλάγχνη — хорошие/добрые внутренности, или кишки <...>